

Александр Товбин

РЕПЕТИЦИЯ  
НОСТАЛЬГИИ



# Александр Борисович Товбин

## Репетиция ностальгии

*Текст предоставлен правообладателем*

*[http://www.litres.ru/pages/biblio\\_book/?art=22983184](http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=22983184)*

*Репетиция ностальгии: набросок к роману / Товбин А.: Геликон Плюс;*

*Санкт-Петербург; 2018*

*ISBN 978-5-00098-151-1*

### **Аннотация**

«Где-то там, в далёких и чудных, пока всего лишь манящих странах при симптомах подобной ломки обращаются к психиатру, а у нас в запой уходят либо, как тонущие за соломинки, за авторучки хватаются, чтобы – писать, писать, изливая на бумагу комплексы, сомнения, мечты...»

# Содержание

|                                   |    |
|-----------------------------------|----|
| 1. Вызов                          | 5  |
| Конец ознакомительного фрагмента. | 81 |

**Александр Товбин**  
**Репетиция ностальгии**  
*Набросок к роману*

*О, жребий сладостный —  
у моря ждать погоды.*

# 1. Вызов

И Соснин понимал, что пишется вовсе не роман, пишутся преждевременные мемуары, всё быстрее разматывается, покатившись, клубок его собственной, убывающей жизни. Едва вызов получил, душевные силы (будто пырнули финкой) вытекать стали в невидимую рану-пробоину, и – разматывается, рвётся, торопливо связывается узелками нить дней. А конец её, нити той, без его согласия уже, оказывается, переброшен судьбой куда-то туда, в притягательное, но до озноба пугающее политическое зазеркалье, самоназванное Свободным миром; и совесть напряжена: состоится ли сделка?

Где-то там, в далёких и чудных, пока всего лишь манящих странах при симптомах подобной ломки обращаются к психиатру, а у нас в запой уходят либо, как тонущие за соломинки, за авторучки хватаются, чтобы – писать, писать, изливая на бумагу комплексы, сомнения, мечты.

Мечты?

Вот и сейчас, в открытом кафе у пицундской пристани, повернувшись к выглянувшему из-за тучки солнцу, зажмуривался и видел уже не привычную толчею швартующихся прогулочных катеров, стартующих-финиширующих глассеров с водными лыжниками в оранжевых надувных жилетах, а призрачные города тех самых далёких и чудных стран. О

них он мечтал всю жизнь: с закрытыми глазами гулял по Риму, Парижу, плавал по каналам Венеции. Но! Города-миражи он смог бы обрести, обратив их в реальность, при условии, что потеряет другой город, свой... Есть города, в которые нет возврата?

Да, такая цена: обретение в обмен на окончательную потерю.

Но переживёт ли он столь жестокий обмен?

Изнурительная странность психики: никуда ещё не уехал, не принял даже решения об отъезде, а жизненный ресурс у него, всего-то сорокалетнего, и впрямь будто бы иссякает... Да-да, рана-пробоина, опять этот навязчивый образ! И не исключено ведь, что сама идея закордонного возрождения увянет вскоре как недостойная авантюра, словно в дурном сне, словно там уже, с обманутыми своими надеждами, до конца дней осуждённый мучиться наедине с памятью.

Сосушая тоска по друзьям (ничего не мешает снять телефонную трубку, условиться о встрече), убегающие назад, исчезая в обратной перспективе, бесценные видения, звуки, запахи.

Что за напасть?

Последний просмотр для затуманенных глаз, затихающая музыка, терпкая дегустация, которая вот-вот оборвётся?

Да, всё чаще кажется, что всё, чем был жив, вскоре будет отнято у него...

Был жив – чем-то неуловимым?

Час полёта, и – как обычно, летом в Литве, на Куршской косе: собирай у кромки балтийских волн багрово-жёлтые камушки янтаря, карабкайся на белёсый склон дюны, наслаждаясь свистящей песнью песчинок, которой дирижирует ветер; три часа полёта из простудной питерской слякоти, и – как обычно, осенью на кавказском побережье: хурма, мандарины, столик в кафе у пристани, прохлаждайся под опахалами пальм, лечись йодистой ингаляцией моря.

Да что там лететь куда-то за тридевять земель, пусть в Прибалтику, пусть и в абхазские субтропики!

Наваждение: скучает до слёз по пейзажу, когда смотрит на этот самый пейзаж из своего окна.

Здесь всё меня переживёт, всё, даже ветхие... Да что там сочинённые когда-то элегии повторять! Накануне отбытия на кавказское побережье стоял на лоджии, смотрел на облетевшие деревья с серыми домиками скворешен, жадно вдыхал только что перелетевший залив сырой, с примесью гари и дыма – жгли опавшие листья? – осенний воздух; пожухлая, прибитая дождями трава, дикие утки – изящные утюжки, разглаживающие пруд, и в горизонтальную полоску, как лежащие арестанты, дома, толчея кранов в порту, тусклая риф-

лѐнка залива, а правее и дальше, над наслоениями крыш, сушится золотая пиала купола.

И что же, он, неблагодарный, обменяет это на другие города?

Да ещё, – без навыков диверсанта – сожжёт мосты...

Пока всё, что любит, – в поле зрения, на худой конец, – в нескольких перегонах метро, где-то за углом Гороховой или выгибом Мойки, однако боязно, что вот-вот он утратит сопротивляемость и будут отняты у него эти звенья узорной ограды, эти старые тополя, клонящиеся к тѐмной воде, по которой из лета в лето медленно плывѐт пух, словно где-то во всемогущей *инстанции* уже состряпан (ждѐт подписи?) акт об изъятии.

Пока – действительно можно смотреть, осязать, дышать.

Но – опять, опять! – кафкианские приставы уже изготовились конфисковать всё то, чем он от рождения владел, как описанное по приговору имущество.

И не стоило ему, оцепеневшему в нерешительности, надеяться, как на авось, на успех воображаемой апелляции, нет-нет, надо было сыграть с судьбой на опережение, чтобы сберечь в слове всё то неуловимое, летучее, что особенно ему дорого. Ну а если всё-таки в последний момент (вдруг сыграет он в поддавки?) схватит за горло судьба – обхитрить таможню и пограничников, увезти в новорожденном тексте с

собой... Что и говорить, путанные намерения.

О, ему приспичило с ходу затащить в тетрадку свою всё, что было когда-то с ним, не было, в приступах жадности он не задумывался – поместятся ли, не поместятся в тетрадке громоздкие желания, безразмерные воспоминания, клубящиеся фантазии...

Впрочем, по правде сказать, не только намерения (планов громадье), но и мотивы мук его были путаными. Вопрос поставлен ребром: или – или, однако чего ради?

Разногласия?

Ну да, на поверхности – разногласия: идейно-политические, экономические, само собой, эстетические, однако общественный темперамент его был нулевым; хотя в студенческие годы ему и шили участие в протестной акции, сам он, относясь к тому мелочному происшествию как к скверному анекдоту, никогда не хотел выходить с суровым (перекошенным) лицом на площадь, тем паче – кого-то (главного из престарелых вождей?) свергать, размахивать знаменем свободы на баррикадах, чтобы в очередной раз одурманивать-одаривать толпы посулами мифической справедливости. Ну а сугубо нравственную стойкость диссидентов, практически на смягчение государственного климата не влиявшую, лишь обсуждавшуюся в кругу Соснина вполголоса, он воспринимал с сочувственным скепсисом – ещё бы, над ним не капало: у него была своя ниша с архитектурой, книгами,

Эрмитажем, где он был свободен...

Что же вывело из будничного равновесия?

Ясно: явление почтальона с заказным конвертом...

Никакого вызова он не ждал и мог бы не превращать в экзистенциальную проблему чью-то ошибку, дурную шутку или непрошеную услугу...

Но ведь не стал избавляться от маяты выбора, не разорвал в сердцах провокативный конверт с сургучной печатью и листком отменной бумаги с персональными данными на кириллице и латинскими буквами обратного адреса, не выбросил обрывки в мусорную корзину... Да-да, границы советской империи совместились с новой, идеологической чертой оседлости, а ему – молния сверкнула! – подарен шанс увидеть-таки своими глазами иноземные города?

Провокация удалась?

Он и впрямь мог бы, коль скоро решил бы поднять зад с дивана, увидеть иноземные города?

И – всего-то?!

Увидеть Рим, Венецию – далее по списку – и всё?! Что за трусливая программа-минимум? Он что, улизнуть надумал, не сжигая мостов? Подивились бы рьяные и куда более хваткие и основательные соискатели свободы: несерьёзное и наивное какое-то, если не сказать – детское желание... Чего

он всё-таки захотел: участь переменить или всего-то отправиться на экскурсию? Так для исполнения столь куцега желания достаточно ведь превозмочь морально-политическую безргливость и заверить в райкоме собственную благонадёжность... Но такой унизительный выход из щекотливого положения был бы явно не для него.

Короче, можно долго судить-рядить о принципиальности его, крутить пальцем у виска, оценивая-переоценивая те ли, другие странности в мотивах и устремлениях... Ещё короче, тут трудно обходиться без лишних слов.

Шансом, однако, собравшись с духом, следовало бы воспользоваться или всё же – если опять-таки собраться с духом – отказаться от него, чтобы понапрасну не мучиться, а он...

Не зря немая сценка с невзрачным почтальоном, посланцем судьбы, и вручением начинённого динамитом конверта у дверного порога многократно будет им проигрываться, во все не зря...

Пугающая проблема выбора – вероятность добровольного прыжка в бездну, где якобы спрятан судьбоносный шанс на преобразование, – мало-помалу подменялась раздумьями не о принятии решения – того или этого, но в любом случае способного покончить с неопределённостью, – а о том, напротив, как бы полнее и точнее выразить эту самую стимулирующую неопределённость, своё зыбкое состояние, сумятицу – свои умственные и душевные колебания.

Да, внутренние колебания – воспользоваться ли шансом,

отказаться – усиливаясь, росли в цене.

И почтальон с потёртой сумкой на боку воспринимался уже как верховный (мистический?), именно их, колебаний этих, заказчик...

Даже неловко: ставки росли, он сравнивал заштатного почтальона с Заказчиком моцартовского реквиема...

По мере того как вопрос «или – или» покидал плоскость конкретного, требовавшего решимости действия-поступка, а экзистенциальная задача смыкалась с художественной, рефлексия углублялась.

И там, на глубине, было так интересно – рефлексия становилась и темой, и формой, а поисковый челнок мыслей-чувств всё быстрее сновал меж фантомами сознания и реалиями внешнего мира, которые ещё только что были ему до лампочки.

Итак, две задачи в одной, более чем неопределённой. Сценка у порога назойливо маячила в памяти, а мысль, гордая на увёртки, как бы сама собой, помимо воли Сосни-на, поставленного перед жёстким выбором, выскользывала из проблемных теснин в рефлексию, в абстрактные противоречия и иллюзии...

Роман?

Мемуары?

«И из собственной судьбы я выдёргивал по нитке»?

Не в жанре заговздка, и уж точно не в словечке, сохранившемся в нафталине... Мемуары?

Но ведь за мемуары принято садиться на склоне лет, чтобы позитивно, как бы загодя вкладываясь в гордость потомков, описывать избранные события финиширующей жизни, а избранных спутников её, влиявших и канувших, воскрешать, что называется, в порядке их появления в биографии мемуариста.

Итак, поползла улитка: когда и где родился, кто такие, где жили-поживали, учились, служили – не скупясь на подробности – папа и мама, затем – дедушки и бабушки, фотографии коих по сей день назидательно посматривают со стены на состарившегося внука, ну и конечно, где и как сам учился, кто учителя, чем увлекался и в чём преуспел, в кого влюблялся, на ком женился...

При этом помнить надо было о чуть ли не нормативных требованиях «жизненности» литературного жанра:

Скелет «Я» должен был бы «обрастать мясом»...

А характер «Я» – «развиваться»...

Ну не тоска ли?

И – в его случае – ещё и заведомое лукавство: он ведь и словечка не собирался посвящать папе с мамой, школьным друзьям, соседям, не желал обращать внимание и на соци-

альную паутину – нет-нет, никаких пут; крутите ли, не крутите пальцем у виска, однако для сомнительной чистоты эксперимента он вообще вознамерился поместить «Я» в социальный вакуум.

К тому же застряла в голове острота искушённого сочинителя: «У мемуариста слишком мало воображения, чтобы писать роман, и слишком коротка память, чтобы писать правду...»

Нет-нет, он не знал достанет ли воображения ему, но всё-таки – роман, тем более что хронологическая канва и зависимость от спутников жизни изначально, при промельке замысла, были отвергнуты.

Воображение – под вопросом, и опыта с гулькин нос, разве что школьные писульки; ни стишка, ни рассказика не сподобился сочинить и сразу – роман?

Да, заведомо нероманнные обстоятельства, внутренние нероманнные установки, и – на тебе, цель: роман!

При том что масштабно-престижное словечко «роман» Соснин, между прочим, и вовсе считал затасканным...

Куда и как ни посмотри – всюду клин.

Главное, однако, в том, что ему, ошеломлённому внезапным вызовом – опять, опять: визит почтальона, заказной конверт с прозрачным, с закруглёнными уголками окошком, в которое вписаны его имя, отчество и фамилия, адрес: кто

навёл и прислал, кто?! – пора было бы...

А он топтался на месте.

Да, сшибка экзистенциальной и художественной задач создала для него новую реальность стимулирующих неопределённостей.

Но сколь бы плодотворны ни были колебания, сомнения и прочая, прочая, пора было хотя бы покончить со вздорными поисками жанра, приструнить расшалившиеся нервы, сосредоточиться и – если уж замахнулся: роман так роман – начать наконец писать, причём быстро и энергично, вплетая в эфемерную ткань попутных впечатлений-отвлечений нити какого-никакого жизненного сюжета, ибо вместе с душевными силами в рану-пробоину вытекает время, отпущенное ему время – о, это не отсылка к образу, услужливо подкинутому провидцем-параноиком с таракаными усами (часы, стекающие со стола, – гениально!), не намёк на струящийся из колбы в колбу песок (кстати, как трогательны и зловещи белёсые ручейки, подтачивающие припухло-сыпучий бок дюны, – ничто не вечно, с нас тоже песок сыплется!).

Его внутренние часы – не механические, не песочные; а если бы такие часы и отсчитывали его земной срок, не было бы у него веры в чудотворную длань, которая, вытянувшись вдруг из-за облака, перевела бы стрелки вперёд, перевернула бы спаренные колбы, когда иссякнут пружинный завод, струя, – приближается цейтнот, надо ускорять престранную игру с силами судьбы и с самим собой, чтобы успеть

перелить свой текучий мир хоть в сколько-нибудь пристойную прозу, чтобы попытаться при этом ещё и спасти тех, кого помнит (и значит, спасти себя-бывшего!), из уносящего в Лету потока.

И – вот она, сверхзадача!

Почему бы текстом самим (форма – узор строк, содержание – то, что между строк) не только таможенников-пограничников обмануть, отцедив и растворив затем в мыслях, эмоциях, словах что-то бесценное и ускользящее из всего того, вроде бы материального, что вывезти вообще нельзя, но и...

Эврика! Почему бы не обмануть пространство и время как таковые, перемучившись ностальгией, которая наступит не где-нибудь и когда-нибудь там, в закордонном будущем, а здесь и сейчас?

Здесь и сейчас перемучиться ностальгией и – зафиксировать тягостно-летучие образы её на бумаге?

Вот ещё и благородная зацепка, оправдание отпущенных дней...

И, возможно, целительное, как иммунная прививка, опережение сочинительством всего того, болезненного, что случится (если случится!) там, по ту сторону занавеса, и прежде

всего – настоящей, всерьез, без лицедейства и симуляции, ночной пытки воспоминаниями?

Совсем конкретно: в сознании правят бал время и память, так?

Ну а роман (в идеале) = (равен) сознанию.

И опять, опять, опять: попробуй-ка написать (с натуры?) сознание, да так, чтобы – получился роман...

Роман, а не рабочая тетрадь психиатра.

Пока всё, что приходит на ум – пока, никаких ограничений, свобода! – он доверяет толстой, объёмом 250 листов и форматом 128 x 200 миллиметров тетради ценою 70 копеек. Называется она, тетрадь в тёмно-зелёной коленкоровой обложке, «книгой для черновой записи шариковой ручкой», и выпустила её, книгу-тетрадь, типография «Печатный двор». «Книга-тетрадь, – откровенно сообщается тусклыми буквами на последней странице в выходных данных, – изготовлена из отходов»; ну да, желтоватые, чуть шероховатые страницы с несколькими крохотными щепочками на каждой.

В соответствии с назначением этой многообещающей книги наш престранный курортник и строчит шариковой ручкой в кафе у пристани (когда дождь), под пляжным зонтом (изредка, когда солнце), придиричиво поглядывает по сторонам, о чём-то необязательном – возникшем ли, исчез-

нувшем – размышляет, к чему-то позабытому, наморщив лоб, возвращается.

Спонтанно возникают наброски, нечёткие зарисовки настоящего-прошлого и даже будущего; забавно – будущему подыгрывали сиренево-лиловые кляксы от капель дождя, заброшенных в тетрадь ветром?

И вдруг – отрывочные, разделённые пробелами абзацы и строки, вовсе теряя привязку к времени, начинают рифмоваться, мысль, ускоряясь и притормаживаясь толчками памяти, кружит в спровоцированных ею же завихрениях, отсылает к истоку; как бы сама собой запускается компоновка; вычёркивания, вставки, сцепки разрозненных, пусть и расположенных на разных страницах абзацев длинными стрелками.

Азарт вольного сочинительства – счастливая безответственность памяти, воображения, глаз, руки!

Начинать же писать всерьёз трудно, очень трудно.

Какими будут первая фраза, первый эпизод?

Как задать ритм, найти интонацию?

Но деятельные сомнения, догадывается, одолеют попозже; пока, будто бы проскочив начало, страница за страницей заманивают в неизвестность белою пустотой, пока – разогрев памяти и воображения, пока – экспрессивная пестрятина на-

бережной и пляжа, мешанина контуров, фактур, красок.

Хорошо!

Столик в углу, у барьера из продолговатых деревянных ящичков с жирными, карминными, словно увеличенная герань, цветами, стебли их – толстые, серебристо-пепельные – напоминают бесстыдно голые стволы эвкалиптов в миниатюре.

За ящиками с карминными соцветиями, в рваном окне живой стены (дикий виноград с плющом), свисающей с бетонного козырька кафе, сквозь тюль дождя – море, роща; на столе рюмка с коньяком – помогает раскачать мысль.

Пижонство, конечно, писать на французский манер в кафе, однако в непогоду – это приятная необходимость; когда дождь усиливается, в лиственное укрытие, под этот нелепо задранный козырёк, залетают брызги дождя, солёная пыль штормящего моря, и паста шариковой авторучки расплзается по увлажнённой бумаге, будто по промокашке, лиловатыми кляксами.

А за цветами и колыханиями лиственной занавеси, за выносом козырька, пузыри вздуваются, делятся, скользят наперегонки по лужам, обещая затяжное ненастье, но зато – никаких отвлекающих соблазнов: пиши.

Между тем торопливая – вроде бы отвлекающая от садняще-ускользающей сути – писанина пухнет, бунтует, под-

брасывает какие-никакие идеи. Это сложная, без выверенной рецептуры кухня, даже себе самому не объяснить, как из зыбких, аморфных массивов слов интуитивно выстраивается композиция странного – словесно-пространственного? – сооружения, которое и в воображении-то пока в общих чертах не выстроилось, а, как чудится, кренится, пошатывается, ибо для каждого из фрагментов его ещё не найдено единственно возможное место.

Но если – единственно возможное, то стоило ли мечтать-размышлять об открытой форме?

Здесь, пожалуй, своевременно будет отметить, что приведённые выше сомнения (равно как и сомнения, которые с иезуитским смирением дожидаются ниже) не столь новы, как может казаться; пора также предупредить легковверных, что и намерения писать поверх правил хорошего литературного тона отнюдь не новы.

К слову сказать, ещё более века назад прославленный романист, утончённый стилист и прочая, прочая, мечтал: «Что кажется мне прекрасным, что я хотел бы сделать – это книгу ни о чём, книгу без внешней привязи, которая держалась бы сама собой, внутренней силой своего стиля, как земля, ничем не поддерживаемая, держится в воздухе...»

С тех пор о написании книги «ни о чём» мечтали многие. Некоторые даже брались за перо и, случалось – как это не

признать? – добивались успеха.

Ему тоже захотелось.

Вот и пишет сейчас в кафе «ни о чём», или, если откровенно, то всего-то о двух всемогущих эфемерных субстанциях: о времени и памяти, точнее – о переживании их, времени и памяти.

Правда, об успехе – ей-богу! – не помышляет.

Итак: умозрительное словесно-пространственное сооружение... Пространственное, ибо внутренним взором он, заложник профессии своей, строит, пропорционирует и – общим взглядом, мысленно кадрируя, – оценивает построенное.

Сколько в тексте будет структурно-смысловых уровней, Соснин не знал, хотя, конечно, основные мог перечислить.

События, сами по себе пусть и незначительные, случайные, ибо не бывает вовсе бессобытийной жизни...

Сюжет, который так ли, иначе увязывает события...

Любая жизнь, если на неё оглянуться, покажется невыдуманым кладезем приёмов сюжетосложения. Надо лишь обладать зоркостью и вкусом, чтобы выбрать; нет-нет, выстрелы и погони с поцелуем в диафрагму в финале не занимали его...

Однако сюжет, даже лихо закрученный, – всего лишь функциональный шпагат, «интересно» перевязывающий па-

кет смыслов и символических содержаний, при том что он (достойное совместительство) и сам может стать символом – не шпагатом, так розовой шёлковой ленточкой на подарочной коробке, да ещё от радующего глаз бантика не стоило бы отказываться.

Мало того, сюжет, как проводник по событиям и предъ-явитель случившегося, усиливает связи в каркасе текста-сооружения.

Остальные же смысловые и символические уровни текста событийно-сюжетной направленностью не обусловлены, вольная мысль, путешествуя по двум плотным, но диффундирующим средам языка и времени (какое занудство...) в них преломляется, не забывая при этом, подобно греческому хору, комментировать действие.

Этот комментарий, разрастаясь, и подводит к тайнам пропорционирования.

Что важнее – проблемный потенциал (недурно, а?) или череда событий?

История или ее, истории, трактовки?

И – если не забывать о композиции – стоит ли доверяться ощущению перегрузки, рискованного сдвига уровней-этажей, когда многословие начинает критически нависать над сутью?

Да и элементарный здравый смысл подсказывал, что всё, что дорого ему, в текст не затащить, ведь не всякий комод-мастодонт пролезает в дверной проём.

И между прочим, дошло, что отбор, самоограничение – защитная реакция памяти: нельзя объять необъятное.

Да и время – ограничитель, хотя бы потому, что ограничен земной срок.

А пока суд да дело, время и память, каким-то образом смыкаясь и пересекаясь в сознании и непрерывно расширяя-углубляя его, отфильтровывают поток фактов, картинок-кадров...

Соснину нелегко давалось пропорционирование подвижных словесных масс, но, взявшись за шариковую ручку, он сразу понял, что от обрушения текст спасёт не паническое вычёркивание вроде бы лишних слов, фраз, абзацев, а специальное ядро жёсткости, в полостях которого, прошивая все этажи текста, снуют между первой и последующими фразами лифты сомнений.

Сомнения помимо прочего – это индивидуальная технология нейтрализации диспропорций, уравнивания, искусного продления-поддержания устойчивости, хотя и хлопотная, небезопасная технология – приходится не только сновать по строчкам вверх-вниз и обратно, но и выбираться из текста, чтобы взглянуть на него снаружи: не прозевал ли перекося, не валится ли?

Да, использовал архитектурные навыки.

Посматривал критично на текст, как на недостроенное

здание.

Если устойчивость сохранена – продолжается нагружение, если шатается – вырывают сомнения в надёжности последних абзацев, и эксцентриситет, опознанный и пристыженный, исчезает.

Так, прочностные характеристики обеспечены.

А как защитить легко уязвимые нервные ткани новорождённой прозы?

Опережая читательское мнение, можно с показной растерянностью ли, самоиронией выставить напоказ изъяны своего текста, связав авторской осведомлённостью (и откровенностью) руки критиков-потрошителей, которые перед нападением лишней раз задумаются: а вдруг впросак попадут?

Или можно посетовать на несообразительность будущего (воображаемого) редактора, и тогда настоящий редактор притворится, что всё понял: это о дураках, а я – умный.

Если страницу смочили не капли дождя, а слёзы умиления, не вредно будет предупредить, что так и задумано, это, мол, не авторский бзик, а стилевой приём, и тогда его, приём этот, понимающе кивнув, оценят другие.

И развивая успех – если в подзаголовке перед существительным «роман» тиснуть прилагательное «сентиментальный», текст могут разругать за что угодно, но только не за слезливость.

Если же под заголовком кокетливо врезать: «Опыты тавтологии», то решится ли кто-нибудь расписаться в отсут-

ствии чувства юмора, обвинив автора в безвкусном пережёвывании сказанного и пересказанного?

Можно также, к примеру, набрать на титульном листе мелким (чем мельче, тем лучше) шрифтом: «Записки эпикурейца».

Разве рискнут тогда упрекнуть автора в том, что он смотрит на мир сквозь розовые очки?

Вещи надо самому называть своими именами, и тогда...

Короче: увидев слабости прозы и открыто сообщив о них в самой прозе, так ли, иначе обсудив (и осудив) их, погримасничав и посомневавшись, можно слабости превратить в достоинства – культурные читатели в этакое самоуничтожительном (кокотливым) новаторстве даже преемственность усмотрят, Стерна ли припомнив, Розанова, Олешу с Катаевым...

Здесь, однако, поджидают свои сложности: критикуя текст свой и, стало быть, себя, раскрывая секреты письма, объясняя (суконным языком) принципы компоновки, ритмики, демонстрируя приёмы, надо бы избежать взаимного исключения смыслов, да ещё хорошо было бы сохранить (как?) аромат, загадочность, а главное – лёгкость и радость до беспомысленности затягивающей игры.

Если же отвлечься от текущей конкретики, представить

жизнь произведения во времени, то стоило бы заметить, что обнажение литературных кодов не изгоняет художественную тайну, а средствами перекодировки может даже её роль усиливать благодаря замещению функциональных содержаний символическими: сетка фахверка на щипцовых фасадах, к примеру, давно уже превратилась в культурном сознании из конструктивной необходимости в декоративный знак, накладной, примитивно-грубоватый вензель ганзейского процветания, обеспечивающий прежде всего красоту графических членений фасадной стены и лишь попутно, между прочим, по чистому (верят ротозеи-туристы) совпадению – её жёсткость и прочность.

Тетрадка отодвинута... Посматривая на море и облака с рваными зияниями лазури, всё думаю думает об индивидуальной технологии сочинительства, не зная как записать свои безответственные раздумья, не зная даже, стоит ли вообще их записывать...

Солнце, как яичный желток, обозначилось за облачной мутью, насквозь просветило плющ, угол кафе затопила нежно-зелёная тень, будто чуть приглашенная плывучая вспышка света.

А пока длилась игра сомнений: может быть, ещё сложнее? Вдруг выдержит? А если так накренится, что не удастся вы-

править? Снова всё сначала, и так – без конца.

Нагружал текст словами-смыслами, рисковал устойчивостью конструкции, которую изначально хотел видеть сбалансированной, но лёгкой.

Добиваясь открытости и непреднамеренности, а заодно прозрачности, рисковал и вовсе потерей формы: хождение по проволоке без страховочной лонжи, без натянутой внизу сетки, без подстеленной соломки, в конце концов.

И параллельно с рискованной игрой сомнений – невнятное проборматывание, смутное планирование, да что угодно из нескончаемых потуг сочинительства, лишь бы не задумываться всерьёз о стиле-форме, структурной организации строк, страниц. Набегает зыбь необязательных мыслей, провоцируя отдаться внутренним импульсам и бегу шариковой ручки по влажной бумаге: интересно, что напишется через две, три, четыре страницы и на какое слово упадёт, уродливо расплываясь лиловой кляксой, новая капля?

Лукавый вопрос: надо ли о чём-то ещё (разумном, добром, вечном) писать, когда вокруг столько привлекательных мелочей, когда так гладко пишется «ни о чём»?

Узкий длинный листок выхватил ветер из трепетной занавеси плюща... Листок медленно, покачиваясь, спланировал.

Вот и ссылка, вот-вот: ловить ли бороздящий воздух ли-

сток, любоваться ли листьями из воображаемого гербария и записывать то, что видишь, думаешь, чувствуешь, как записывал то, что почему-то теребило ум, Василий Розанов, писатель-философ с лавиной пёстрых (порой препротивных) мыслей, заноса их в тетрадь где придётся и пометая в скобках: за нумизматикой, на улице, СПб – Луга, вагон. О «чём» же и «как» пишет он? «Шумит ветер в полночь и несёт листы... Так и жизнь в быстротечном времени срывает с души нашей восклицания, вздохи, полу-мысли, полу-чувства, вот и решил эти опавшие листья собрать в короба. Зачем? Кому – нужно? Просто – мне нужно. И много всего нужно разного».

Что за гомон и весёлую возню затеяли птицы в виноградно-плющевом занавесе? Взрыхляют мокрые листья, щебет, трели, гам. Прошили-простегали листву солнечные лучи, пятнисто разбросали акварельно-прозрачные зеленоватые тени, и – подожгли рюмку, нетерпеливо заёрзали по пластмассовой столешнице, каменному полу, пористой, из туфа, стене буфета с глянцевого – снятой с вертолёта, – дивной сине-зелёно-голубой панорамой курорта, забрались в пепельницу, высушивают бумагу с кляксами, и можно, позабыв о творческих муках, весело подпевать птицам, созерцать непристойную пляску бликов, радоваться, хлопая в ладоши: дождь прекратился, сквозь клочковатую рвань улыбаётся солнце, а над блещущими ноздреватыми плитами набережной клубится пар. Хорошо, можно на минуту-другую

позабывать о тетрадке и смотреть не без зависти, как за глицером (выстояв очередь и заплатив рубль) проносятся лыжники.

Одни, новички в спасательных оранжевых жилетах, корчатся в нелепых позах преодолеваемого испуга: напряжение неумелости.

Другие научились держаться на вибростоле воды и, набираясь уверенности, гордо машут знакомым.

Третьи – виртуозы, в руке фал, свободная рука непринуждённо отлетает в сторону на крутых, вспарывающих лыжным плугом волну виражах. Совершенство?

Для прозы, однако, совершенство недостижимо, прозе, оказывается, много всего нужно разного, если же речь о каких-то критериях качества, то нет их, критериев для всех, они сугубо индивидуальны; можно лишь предположить, что прозу всякий раз формирует особое сочетание неумелости-наивности, уверенности-самоуверенности и виртуозности, чтобы всё-всё-всё чудесно срослось: как в жизни.

Вот и несводимость начал, задач, вот и новая разбалансировка целей, спор смыслов и стилей...

Сочетая разные – сущностные и формальные – различия, стоит ли открещиваться от влияний?

Соснин настолько вдруг осмелел, что уже упреков в подражательности и даже вторичности не боялся, во всяком слу-

чае, сейчас. Что будет с его предпочтениями потом – посмотрим, сейчас его идеалом была эклектика.

И ещё.

Отточенность, отглаженность, дистиллированность стиля можно похвалить, попытаться перенять даже, можно над такой зачищающей всяческие шероховатости старательностью и посмеяться... Ох, ветер, музыка из транзистора: листья желтые кружатся, падают, только успевай подбирать, вот один желтовато-зеленоватый еще, но с коричневыми пятнышками листочек и на раскрытую тетрадь опустился.

– Аскольд Васильевич, читали пародию на изумрудный наш... забыл, какое слово-то ещё в заголовке?

– Венок! Только, по-моему, алмазный, а не изумрудный.

– Да, да, правильно, и ещё, кажется, не наш, а мой...

– В-в-верно, и в-вспомнил, н-не венок в-все-таки, а в-венец, не исключено, что это строчка из Пушкина, в-в-впрочем, не р-р-ручаюсь за т-точность, не важно...

– Конечно, Роберт Фёдорович, не в том суть, венок ли, венец, ну так как, вы читали пародию?

– Д-да, о-о-остроумные с-стихи.

– Нет, я имею в виду прозу, всего пять страничек, но остро и точно, убийственная характеристика новомирской псевдосенсации.

– Не у-удивительно, А-а-адочка, эту в-вещицу зарпортованного на с-с-старости лет В-валентина П-п-петровича

легко пародировать. (Из диалогов в автобусе; перегон Дом творчества кинематографистов – «Литфонд»).

А то, что пишется сейчас, легко пародировать?

Еще бы!

Влияния, разумеется, чувствуются, их не спрятать, только индивидуальность – сильнее. Вот трое – каждый по-своему, но блистательно – разработавших разные пласты языка, умевших в комбинациях слов выявлять их исчерпывающее значение.

А заголовки сами по себе, заголовки?

«Дар», «Котлован», «Мы» – смысловая весомость, ёмкость одного слова, которое делается концентратом-аналогом всей вещи!

Соснину, однако, всё чаще хотелось думать, что «это было, было и прошло», что в пору молодого натиска аудиовизуальной шпаны (квазихудожественного примитива, не способного к самовыражению вне видимой феерии действия) и ослабления слова, писать стоило бы как-то иначе, извлекая затруднённые, неявные звуки...

Нда-а, опять путанные намерения, но – вперёд?

Главное, уже думал он, перепрыгнув через славное прошлое литературы, искать свою точку зрения – откуда выглянуть? Куда заглянуть? – пока контекст не пробудит в инерт-

ных фразах символические значения и не сложится (как бы сама собой?) отражённая и преображённая в борьбе мысли и слова форма.

Однако возрастание семантической роли связей между элементами текста не означает отказа от воздействия на восприятие самих элементов, семантику связей лишь надо представить-подать иначе – выделить, не балуя лёгким успехом курсива, а без пререканий поощряя в каждом слове, строчке, абзаце болезненно самолюбивое стремление к выделению, самоопределению... уфф, о чём он?

Перечеркнул несколько мутных фраз.

А о чём думает он (хронически неудовлетворённый собой) сейчас?

О том, что хочет писать не так, как уже писали до него, не так, как писал он сам на предыдущей странице, которую только что закончил (временно одолев себя) и (со вздохом) перелистнул, короче – хочет писать лучше, чем может?

Похвально.

Время идёт, и литературные кудесники психологического анализа, не выдерживая в новом веке конкуренции с психиатрами, бросаются в клоунаду, сатиру или – вот путь! – замыкаются в формальных поисках: комбинаторные игры, словесный поп-арт, пасьянсы из знаков.

И в чести художественная хиромантия – поиск линий жизни на бугристой ладони времени, узоры, узоры, пересечения траекторий передвигаемых внутренними и надличностными силами фигур, эстетическая самоценность судеб.

Поэтизированный блеф прозы с ворсистой фактурой бездействия полнится намёками, завязками ассоциативных ходов, набухающими в тягучей загадочности почками смыслов, смутными обещаниями развернутых, опоясывающих метафор; воздушность прошелестевших ветерком слов и тяжеловесность страниц; ориентированное, казалось бы, напряжение, но – не понять, что именно направляет его и поддерживает: внешне ничего не случается, растёт только ворох сомнительных векселей, мечутся в поисках лучшего места меченные контекстом слова-атомы, множатся, коченея на учиненных беспечным ветерком сквозняках, обрывки каких-то чувств, намерений, состояний создающей и пожирающей нас внутренней жизни, рефлексии. Волнующая, сладкая, как истома, горечь потерь, терпкость прощания (мысленного, слава богу! Посмотрим ещё, случится ли настоящее прощание-расставание), и неожиданно прокалывают острые, с привкусом талого снега в тропиках воспоминания, и прошлое смеётся и грустит, и злоба дня размахивает палкой, и буравит тревогою ожидание предстоящего, а чего ради может понадобиться столько слов – никак не понять истекающему желанием высказаться автору.

О, желания, замах (отваги не занимать) – ого-го!

И рябит в глазах от букв, слов, строк, абзацев, и пока неясно, к чему же приведет компоновка, – вербальное сооружение возводится без проекта; нельзя до дверных ручек спроектировать город, задохнется в скуке, по схожей причине и писать стоило бы на вырост, не боясь разнородности, монтировать по коллажному принципу кусок текста за куском, загадывая, уточняя и ломая свои же схемы, пока не соберётся (спорящий с самим собой?) массив текста и в болезненной адаптации к раскадровкам многосерийного замысла не прорежется композиция... Всё слишком сложно замешивается, чтобы предвидеть, что и как должно получиться, не представить даже, какой к роману подойдет заголовок.

Выбор?

Между жизнями?

Вынужденное (чем?!) прощание?

Протокол ожиданий? (Чего?)

Преждевременные мемуары? (Зачёркнуто.)

Опись потерь?

Колесания в пустоте? (Точно!)

Сентиментальные сновидения? (Плохо.)

Цветные нитки (те, что выдёргиваются из судьбы)?

Нет, нет, всё это скорее сгодилось бы в подзаголовки...

На качелях?

Неслучайные впечатления? (Да, неслучайные!)

Нет, не подходило, не сходилось клином, не присваивало безоговорочно право занять белое поле листа над всем, задать ноту, движение, породить контекст, продиктовать образное строение, завязать узлы, раскроить ситуации, чтобы в вихревом развёртывании текста испытать обратные влияния, впитать, как губка, новые, на ходу догнавшие смыслы, расширяться, разбухнуть, наполниться, вступить в игривый флирт с подзаголовком (если появится), первой, одиннадцатой, последней фразой, системой разбивок, перебивок, отступлений и снова значимо, солидно, царственно застыть на обложке, обнимая, благословляя книгу, но и дразня её тоже, внушая лёгкое недоверие не только ко всему сумасбродно наплетенному в ней, но и к своему, никаким законом не подтвержденному праву на исключительность.

Сначала – впустить призрачный, тающий на глазах туман собственных мыслей в глухие (если повезёт, гулкие) тупики книжных умствований, сплавить глуповатые, сонливо-благоговейные, иногда безвкусно-яркие пейзажи воображения, душевную сумятицу, ужас, неловкость, стыд, половую распущенность и политическую неблагонадёжность, запой, буйное и тихое помешательство, детский негативизм, старческую привередливость, прискорбное отсутствие авторитета, имени, репутации, шаткость эстетических позиций, беско-



ния души, внезапные чудеса оживления, ловлю флюидов, трансцендентные кошмары и воспарения, нецензурно-своевольную трансляцию индивидуальных желаний, переживаний, художественную искушенность, тягостную эксплуатацию мифов, чужих строк, всего, забивающего интеллигентскую голову культурного мусора, попытку пробиться зелёными побегами сквозь заложенные давно фундаменты, патологический интеллектуальный эгоизм, солипсизм, демонические пороки, ригоризм и снова – резонёрство и иррациональный гротеск, идеализм, нигилизм, независимость от политической конъюнктуры, поэтической моды, скованность её знанием, декадентскую вседозволенность, восприимчивость, боль, отягощение прошлым и будущим, невесомость в настоящем, непатентуемое умение выманить из темноты, подманить, заманить смутно брезжущий смысл и – поглотить его художественной структурой, считая всё это (скопом и вразнобой) исконным (для себя) условием сочинительства.

Испытал включённость в материал, обрёл понятия (свои, для себя), но едва расширял обзор, пытаясь по-новому, иначе, описать лицо, явление, предмет, как понимал (и то хорошо!), что усвоил не исчерпывающие понятия об объекте, а всего лишь собственный и всегда недостаточный понятийно-языковой аппарат мысли, алчно кидающийся на поиск дополнительных средств выражения, обрекая себя в каждый момент всё начинать заново, чтобы подступаться к замыш-

ленному объекту с разных сторон снова и снова.

И ещё об аналогии.

Всякое здание строится по проекту.

А тягучие, кажущиеся необязательными рассуждения о письме, о способах (всегда индивидуальных) преодоления препятствий складываются мало-помалу в проект романа, дополненный ещё и («роман романа»?) внутренне конфликтной пояснительной запиской к нему.

Поисковая обречённость художественного сознания упрямо перетекает в обречённость не достигающего ясности истолкования, единственная (иллюзорная!) возможность которого сообщить что-либо законченное каверзно обусловлена принятием некой системы аксиоматических ограничений. И вот весь творческий пыл растрачивается на их выбор. Слова, слова, полный рот распухшего языка (кляп?), и равносильно это его, языка, отсутствию, немоте: не высказать, не выдохнуть смысл – копяты лишь скучные слова про запас. Надо обосновать как-то выбор ограничений, и никак не перейти к сути, не начать. Увязает в формальных приготовлениях; смысл, идея, форма, содержание, похоже, сводятся к психотехнике самонастройки, к бесконечной заточке карандашей: сломаешь грифель, порежешь палец – событие!

А ещё поджидает философски неотвратимая третья обречённость – общения: поймет ли кто-то сбивчивые твои объ-

яснения?

Так получился заколдованный круг: единственным реальным шагом, который он, оказавшись перед выбором, вопреки сомнениям своим смог предпринять, было заполнение словами этой тетрадки.

Собственно, этот растянутый на отпускные недели шаг и стал его шансом.

И опять двадцать пять: зачем?

Самое время хоть теперь бросить увязающую в невнятице писанину. Если вызов получил – а это факт! – не лучше ли неправильные глаголы учить?

Отпуск вот-вот угробит; что-то настрочил, много, быстро, не без находок, но – продолжать?

Дело вовсе не в том, что (непривычна зелёная паста авторучки, надо бы заменить стержень на фиолетовый) не будут интересны эти посаженные на протёртую философическую подкладку пассажи. Умозрительность, казуистика... Для себя писал, и сколько бы ни морщил лоб, пытаюсь выбираться из психологических тупиков, а зимой, всего через несколько месяцев, их, пассажиров этих, собрание, вопреки их натужной серьёзности сам сможет воспринять как нечто скоротечное и необязательное, как бумажно-чернильные отходы курортных романов: номера не нужных в городе телефонов, с трудом припоминаемые, уже докучливые подробности (кадрилы

на пляже? Танцевал на верхотуре в баре «Руна»?) – ну и слава богу, продолжать-то зачем?

И всё неясно, аморфно: месье внежанровой прозы.

Дневник?

Вот именно: облака – с натуры, силуэты зданий – с натуры, пусть и с какими-то добавлениями «по памяти», и конечно, цветные нитки...

Нет последовательности достоверных событий.

Что было, что случилось – так, туман: среда смутных лет.

И сплошь тонкие материи: изнанки, подкладки...

А тонкие материи – неизбежно? – скользкие, точней, ускользающие.

Беллетристика?

Куда там! Нет ничего дальше: сюжет, едва завязавшись, в ожидании занимательных событий провис, интрига, едва наметившись, выдохлась, эка невидаль – типовая ныне бытийная маята: ехать – не ехать и, соответственно, покупать гжель и палех – не покупать.

Эссе?

Такое бессвязное?

Да ещё с перебором громких слов?

Но ведь и не о чистом искусстве речь...

Откровения?

Хватил... Откровения остаются таковыми, пока не выговариваются вслух, пока не доверяются бумаге...

И о чём же художественно насущном, важном способен поведать сумбур индивидуальных сомнений?

Этично ли не претендующий и на толику интеллектуальной значимости стриптиз выдавать за оголение нервов творчества, пружин искусства? Тем более что в нашей ханжеской культуре нет эстетизированной традиции раздевания, хорошо ещё – никто не прочтёт, а то бы засвистели, скрутили и повели, злобно сопя, в отделение, как нудиста с общего пляжа.

Нонсенс: самокритичный Нарцисс глядится в зеркало и остаётся недовольным собой. Сомнительные отношения с соперником-двойником (соавтором? соглядатаем?), попытки спихнуть с себя на себя ответственность. А ещё – конформирующий еретик, торопливый пешеход, прикованный к перекрёстку: все четыре угла манят, во все стороны тянет, а переминаясь, порываясь шагнуть, лишь заносит ногу и стоит на месте – даже жанр письма предпочесть-выбрать

не может, пробует разные, имитирует, повторяет (по-своему!), ищет... Но может, эта невнятица и есть его жанр, отвечающий его внутренней сути беспутный путь? Ничего готового, найденного, отстоявшегося; непрерывное, текучее становление, навсегда размягченный костяк смысла; курьёзно захламлённая лаборатория, вызывающее справедливые протесты общественности путешествие на (за?) край искусства – сколько до него было уже самозванных первопроходцев, но, может быть, он свой край ищет?

Да, распогодилось... Надолго ли?

Солнышко продавило плющ, хлынули под козырёк, заправили кафе прозрачные зеленоватые тени. Море поблёскивает в прорехах колеблемых бризом листьев, и впору вообразить зимнее подведение итогов: он дочитывает затрёпанную тетрадку, а в узком стекле балконной двери артистично организованный мир, брейгелевская идиллия – посеребрённые инеем густые ветви коренастых деревьев, ультрамариновая лыжня, снежный вал, окаймляющий замёрзший пруд, пёстрая круговерть детей-конькобежцев на планшете льда. Подошёл ближе к балконной двери – кадр расплзся, с вороватой поспешностью вобрал в себя, что попало, разбросал в пустоте: стучит, болтается на стыках трехвагонный трамвай, пробка у светофора, жирно дымят высокие трубы ТЭЦ за полосатыми коробками... Какой там Брейгель, рядовая иллюстрация к пустырной блочно-панельной скуке, как посмот-

ришь – то и увидишь...

И вполне в этом наборе строк можно при желании увидеть одну из небезинтересных форм познания душевной жизни через художественный опыт, наполненный, с одной стороны, неподдельным (?) чувством и самообнажением мысли, с другой – омертвлением и чувств, и мыслей в мучительных, мнительных, порой тягостно болезненных процедурах конструирования (и автокомментирования) композиции – свободной композиции, ищущей правила.

Какие следствия?

Интересное, итоговое: разлад между Я и творчеством.

Или, допустим, промежуточное и сугубо функциональное – погружение в Я, вполне объяснимое: как иначе, если не наложить пластырь на пробоину изнутри, хотя бы замедлить утечку времени?

Но одно дело, когда Я – это персонаж(герой) текста.

А когда этот персонаж-герой – ещё и автор?

И раздвоение такого, заведомо многоликого автора на Я и ОН, на первое и третье лица, связанные родственными узами (может быть?), усугубляет (сгущает?) в тексте саму художественность, обнажая её родовые признаки – неопределённость, зыбкость, загадочность: автор как существо достоверное (имя, отчество, фамилия и даже адрес – в паспорте) в качестве героя ещё и на свой страх и риск действует в придуманном и, значит, деформированном, «неустроенном» мире...

Наслоения планов изображения?

Пресловутые смещения искусства и жизни?

«Лиризмы», орошающие полынную сушь анализа?

Возможно.

И многое ещё (слова, слова, слова) в том же «противоречиво-промежуточном» духе...

Глоток.

Психологическая игра без правил?

Только не раздвоение автора-героя (персонажа), а как минимум растроение: Я – ТЫ – ОН.

Допустим.

Первый (я) – автор-созерцатель, прильнувший (сострада-тельно?) к иллюминатору, – заглядывает в операционную.

Второй (ты) – автор-созидатель, собравшийся наконец с духом, натянув перчатки и маску, наклонился над распро-стёртым телом (героя? Всего текста?), погружает смело в жи-вую ткань скальпель, ловко орудует зажимами, пинцетами и прочим нержавеющей хламом-инструментарием.

Третий (он) – произведенный на свет вольным вооб-ражением, взглядом со стороны и конструктивным усили-ем герой-недоносок: да-да, родовая травма, наследственная

ущербность чувств, консилиум (Я и ТЫ) решился на пересадку (души?), однако автор в первом лице (Я) сбежал, испугавшись; жаль, трансплантация срывается, хотя лучшего донора для уникальной операции не найти, у них, разноликих родственничков, ведь потенциальная совместимость сенсорных тканей.

Отшутился?

Итак, схема (Я – ТЫ – ОН) заявлена и тут же скомпрометирована, поскольку не учитывает реальной сложности промежуточных психических состояний при спонтанном обмене лицами – кто знает, меняются ли выражения лиц? – суета переодеваний, но каждый из трёх игроков-лиц пускается на всякие хитрости, чтобы, вживаясь в двух остальных, поочередно вытеснять с доминирующей позиции один вариант своей личности двумя прочими:

я – ты – он

я – он – ты

ты – я – он

ты – он – я

он – я – ты

он – ты – я.

Однако усложнённый танец ролевых масок имеет мало общего с трёхтактными фигурами менуэта.

Сухо: шесть видов взаимодействия (схема – в механическом движении) исчерпывают математическое, но отнюдь не психологическое число перестановок, тем более что схема, теряя или приобретая элементы взаимодействия, постоянно меняет наполнение, так как весомость какого-нибудь лица (я – ты – он) в определенной ситуации становится исчезающе мала.

Не отменить ли их, лица-местоимения, вовсе? Обезличить текст, убрать героя, оставив только импульсы сознания, волнение – а уж чьё сознание, чьё волнение...

Автор ведь не только (распадаясь на Я и ОН) ведёт перекрестный допрос персонажей, не только (распадаясь на Я и ТЫ), как оборотень, вселяется в героя (и текст), чтобы рассмотреть и починить его изнутри, или прикидывает, какие именно поведенческие одежды стоит подобрать в психологической гардеробной, но и в апогее индивидуального просветительства перевоплощается (целиком) в явно свихнувшегося мецената, который вопреки занятости потворствует амбициям сочинителя и зачем-то финансирует (время – деньги) его сомнительные затеи.

Воспроизвести мозаику переходов во всей сложности психологических нюансов вообще вряд ли возможно: ее, такую воображаемую мозаику, образует синхронное сочетание разных уровней и состояний психики, двойные, тройные мысли, чувства и образы, сосуществующие в данный момент в

одном, возомнившем себя автором человеке.

А существует ещё ведь метаавтор с неограниченной свободой действий, способный даже уничтожить (?!) структуру внутреннего Я в потоке психических излияний.

Вообще же, суть этого эфемерного Я, раскрывая несколько прямолинейный девиз Соснина (Я – это Я), можно представить и в виде обобщения Я = (Я – ТЫ – ОН), не претендуя, конечно, на строгость формулы и подразумевая, что разноликое выражение в скобках несёт всю количественную и качественную сложность взаимопроникающих психологических переходов.

Впрочем, стоит ли снова вязнуть в рассуждениях? Лучше бросить запутанные отношения героя-автора со своими эфемерными конфидентами и своим созданием – всем текстом там, где клюнула бумагу последняя точка.

Бросить, но не выбрасывать.

Рукописи ведь не горят; когда-нибудь наткнутся случайно в ящике стола и прочитают... Вдруг и этот сеанс интроспекции покажется интересным?

И все психологические ухищрения-превращения автора, этакой ходячей метаморфозы в штанах, нужны исключительно для него самого, для того, чтобы гражданин Соснин, маскирующий смиренным ликом и ординарными паспортными данными своими художника, смог что-то запретное

тайно вывезти за кордон?

Что-то?

Ну да, он ведь не знал, что в конце концов у него получится.

Но опять, в который раз: зачем вообще писать, когда есть не подлежащая (лучевому?) досмотру память – никто не отнимет, не обложит пошლიной.

Ах да, самовыражение... Память ведь сама по себе, какая есть – такая и есть; не поднимая глаз на море и небо (свихнулся?), торопливо, сгорбившись, заполнять кривыми кляксовидно расползавшимися строчками эту тетрадь, когда самому зимой она может показаться легковесной макулатурой?

Зимой?

Тёплый ласковый ветерок, в солнечном окошке, пробитом в лиственной завесе, всё ещё блещет море, а он навязчиво – уже в который раз! – вспоминает-воображает зиму...

Ритуально почёсывая затылок – писать или не писать? – он на время забывал про вызов в конверте с прозрачным окошком и, стало быть, про саму проблему выбора: ехать или не ехать?

Но после сеанса сомнений какая-то сила изнутри и будто бы самопроизвольно вновь принималась толкать его, он писал, писал и, чтобы набрать инерцию непрерывной рабо-

ты и предусмотрительно облегчить начало завтрашнего дня, не записывал сегодня всё то, что уже наметил, – резервировал, как Шахерезада, которая, избегая казни, откладывала на следующую ночь половину сказки.

Роман как игра словами?

Или игровые мемуары не для потомков – для себя?

Пусть – беллетризованный дневник (?), робкая и наглая попытка реставрации и легализации черновика чувств и событий, их бесплотного, скользящего в сновидениях пунктира. Увы, всё, что было, невосстановимо, но надо, если уж ввязался, продолжать: ради иллюзии неразстворимости прошлого, драгоценного мига сделанности, полного исчерпания художественного импульса – донести, освободиться от ноши (замысла? Такого невесомо-неопределённого?) и перед последней чертой (точнее, точкой) вымолить у самого себя индульгенцию.

Какая разница, прочтут – не прочтут?

Надо безо всяких честолюбивых расчётов, без осторожного подстилания соломки писать всерьёз, иначе – зачем?

Остановить мгновения, их череду, но не потому, что они прекрасны, а в знак сопротивления вселенской несправедливости; всё, чем жив, словно куда-то спешит, уносится, исчезает-истекает вдали (и да-да, вытекает в пробойну), никто, кроме него, не пытается мгновения сберечь, а время притормозить или... обратить вспять?

И смакуя горечь, он, словно собиратель осенних листьев, какими-то затуманенными глазами глядит на мир.

И ничего не видит.

И параллельно внутри – вечная игра! Огни. Блёстки. Говоры. Шум... Шум бала. И, как росинки, откуда-то падают слёзы... Это душа о себе плачет.

И пусть – сентиментальщина, мелодрама, Бедная Лиза, Дама с камелиями и прочая, прочая, зачем смущаться, сиротливо прятаться, тайком, уголком надушенного батистового платка промокать покрасневшие, как у кролика, глаза, виновато оглядываясь, шмыгать переполненным чувствительной влагой носом... Ох, нет, нет, не впадать в слезливость, как, впрочем, не надо и симулировать скупость чувств через силу – сжатые челюсти, желваки, волевые подбородки (лопатой), стальные взгляды и прочие регалии сдержанных, немногословных, прячущих душевное волнение в пещерах подтекста настоящих мужчин; он – не настоящий и, между прочим – да-да, реплика в сторону, – ничего, кроме пустоты, не находит в многотомных библиотеках оскопленной стилистами прозы...

Мешает или помогает ему какой-никакой литературный багаж, к тому же прослоенный кинопечатлениями?

Когда со скрежетом начал раздвигаться железный занавес?

вес, запоем читали про автогонщиков, прошедших войну, про уставшего, раненного на войне лейтенанта и – само собою – про их подруг, чарующе угасавших под конец книги (между прочим, он не трепетные страницы походя задевал, а тех, кто ими зачитывался); долой хеппи-энд, несчастье в финале – свидетельство хорошего вкуса и – неотвратимости: бесконечное беспечное счастье невозможно, в предпоследнем абзаце красивая молодая женщина должна умереть. Рок всесилен, но демаскируется он, затачивая косу дряхлой подсобницы, не только в городах с островерхими крышами, не только в щемяще-стерильной белизне и синьке швейцарских Альп, за чистым, в нежных морозных разводах окном; да-да, рок повсеместен, но прицелен, в каждый миг выбирает новый адрес; рок, к примеру, подкрадывается уже к одному из домов на Исаакиевской площади, тому, чей фасад обращён к западному портику собора, и мы в этом вскоре убедимся...

А пока – молча страдающий герой в благородных раздумьях (восковая фигура в литературном музее?) застыл у пуховой постели любимой. Мало ли что может случиться: неудачные роды или тихий печальный конец в палате дорогого туберкулезного санатория. Милые, самовлюбленные и (при гибкой стали мужских доспехов) легко ранимые алкоголики – иные набирались формального мастерства под патронажем властной литературно-салонной дамы – эй, поколение, что вы там (неужто идеалы?) продолжали терять

на длившемся у обитых цинком стоек монпарнасских кафе празднике или выслеживая носорогов среди зеленых холмов с видом на снежную шапку Килиманджаро? Похмелье? Да, был ещё маленький роман – его радостно разругали литкритики, посчитали провалом – о любви юной аристократки и бывшего лейтенанта – стареющего, даже умирающего внезапно полковника.

И как, когда свежесть идей и стиля («новаторство») заместились вторичностью, перепевами наскучивших мотивов?

И в итоге ещё одна, хотя и облегчённая, смерть в Венеции, во всяком случае, неподалёку от неё?

Не помню точно, где именно бывший лейтенант в чине полковника умер, и название книги забыл... «Там, за рекой... в тени...» – длинное какое-то название, вялое и невразумительное.

Погорячился...

Невпопад и наспех раздал сестрам по серьгам...

Да ещё просквозила какая-то ущербно-завистливая ирония (что за муха укусила? Вслух бы такое не рискнул сказать).

Однако написал (ляпнул), не покраснев, и – забыл?

Вычеркнуть?

Пересохло горло; глоток.

Предположим, я, простите за нескромность, талант, рас-

суждал (продолжал ёрничать) после этого неприлично смелого и путаного (смело запутанного?) абзаца Соснин, тогда у меня сразу (кто спорит?) появляется одна сестра – краткость.

Но другая сестра моя – жизнь, а жизнь – как город, в котором таинственно и непреложно сцеплено всё: голоса, мелькания лиц, мотивы чувств и поступков, споры стилей, завораживающая пестрота толпы, и не стоит стыдиться слов, подробностей, умиления, разве красоты и дымы города не одинаково глаза щиплют?

На город можно посмотреть как на свехсложную (и желанную) пространственно-временную модель объёмного литературного текста: сбивающий с толку новичка свободный выбор направлений движения, бодрящий и усыпляющий калейдоскоп впечатлений, случайные и запланированные встречи, поцелуи и расставания на виду равнодушной орды горожан-зрителей, к которой принадлежишь и ты сам, жадно, порой безотчётно впитывая бушующий, дребезжащий, толкающийся и звенящий, гудящий, напевающий и пританцовывающий мир домов и людей, объединивший, преобразовавший и продолжающий преобразовывать множественность миров; фрагмент скруглённой колоннады, срез фасадного фронта, уходящего в перспективу канала, верхушка думской башни – всё вместе, всё непреложно, как на открытке? Да-да, между тем всех нас, праздных, фланирующих по Невскому (по солнечной стороне), или бегущих,

опаздывая, вспотевших в транспортной давке и магазинных распрях, услужливо обмахивает веер альтернатив, нашептывая (по инерции) усыплённому ли восторгами, отупевшему рассудку, размягчённым и контуженным чувствам главное, может быть, впечатление: структурное единство разного, цельность.

Предположим.

Но это – город, стихийный и упорядоченный, а при чём здесь литература?

И разве не хромают все аналогии?

Откажемся от «придуманной» компоновки строк, пусть из абзацев непреднамеренно соберётся какой-никакой узор – быть может, текст сделается живым, естественным...

Или присмотримся к опытам авангардистов – вовлечём, к примеру, в компоновку читателей, используем их пожелания: сначала об этом, затем – о том; а вот – варианты конца, на выбор...

Подобные новации почему-то не прижились.

Фокус, однако, в том, что возможность пространственного путешествия по развёртывающейся во времени прозе обеспечивает совсем другой, чисто городской принцип взаимодействия элементарной (в киоске купленной) схемы и самостоятельно постигаемого городского многообразия.

Схема (сведения о плане, топографическая картинка), последовательно дополняясь, усложняясь и реконструируясь по мере узнавания города, хранится в памяти и активно (но незаметно) корректирует наши намерения, пока мы бродим по улицам, смотрим (не глядя) на пышную лепнину фасада, натываемся на подсказки афишной тумбы, вздыхаем у дорожной витрины.

Как же – по аналогии с прогулкой по незнакомому городу – воспринимается не написанный ещё текст?

Не успев довериться общей ли схеме, избранным «методом тыка» фрагментам, деталям плана, можно даже незаметно схему сложить-убрать и писать-гулять на свой страх и риск, но также можно мысленно (когда пишешь) увидеть невзначай более подробный рисунок характера или действия, увидеть новый дразнящий намёк на приём и тут же – прикрыть рукой или спрятать от самого себя за спину написанное, и снова писать, и так ли, иначе заводить себя многократно, усложняя игру, развивая схему, меняя её масштабы, степень подробности, широту охвата, заглядывая (условно) то в центр, то в пригороды, овладевая системой лишь намеченных (в городе – замеченных) ориентиров, боясь заблудиться, но решаясь на прогулки по не освоенной ещё странице-местности.

Так пишется (со скрипом) роман или – прыжок через сколько-то сот страниц – уже читается?

Ну да, в самом процессе письма зашифровывается ведь и процесс чтения...

По сути, приступая к чтению спонтанно возникавшего, не следовавшего хрестоматийным правилам письма, мы, словно очутившись в незнакомом городе, интуитивно готовимся к захватывающему путешествию, которое вообще-то вольны начать с любой (даже первой) фразы, самонадеянно почувствовав, что готовы понять тайнопись, и если всё же заблудимся, то не будем звать истошно на помощь, постараемся своим умом сориентироваться...

И визуальные ориентиры дополняются образными, общезначимыми и личными, текст, развёртываясь во времени, наполняясь и заряжаясь символами, связями, смысловыми параллелями, обживается, как городское пространство: дома, двери, окна, дворы, улицы, фонари, аптеки, булочные, трамвайные остановки окрашиваются воспоминаниями, надеждами, отношениями. Путешествуя (читая), мы ввязываемся в диалог с собственным прошлым, каждый раз переносясь в него заново: на этом углу – забегаловка, в которой... Ох уж эти поводы для лирических отступлений... Вон там, за разросшимися деревьями, – стадион, когда-то (клякса)..... А по той улице в трескучий мороз взад-вперед вдоль ограды чёрно-белого Таврического сада... А там – проходной двор с Литейного на Моховую, про-

мерзавший насквозь, с пухлым инеем на стенах лестничной клетки, флигель снесен, следа не осталось, а старый клён в исчезнувшем закутке светового колодца жив до сих пор, да... Столько лет вытекло в арку подворотни! Домашняя (для себя?) выставка, абстрактные композиции, струящиеся мазки широкого флейца; и представим: в длинном душном зале Дома культуры Газа стоял перед совсем другой картиной, с зеркалом, вмонтированным в неё ..... (клякса, ещё одна), последний раз на этом вернисаже говорил с Лерой – прижалась к плечу, провела рукой по виску, смотрел на неё, смотрел, будто чувствовал..... И дальше, дальше, на последнем этаже Толстовского дома, в большой комнате с боковым окошком – Лина, угловая тахта с полосатым пледом под книжной полкой и каплановской литографией с каким-то архаичным, бесхитростно счастливым еврейским семейством, циновки на полу, полумрак, за окном дурашливо мечутся по небу НЛО; откинув устало голову, Лина затягивается сигаретой, ярче раздувается огонек; розовый подбородок, будто высвеченные фарами на повороте горной дороги гроты ноздрей, и опять – что-то ищут на груди губы; и никого больше... И валит толпа из «Авроры» сквозь анфиладу мрачных дворов... Что смотрели в тот вечер с Кирой, «Зеркало»?

Всё позади, но, может быть, она помнит?

Позвонить, спросить?

Город полон людей, но город одухотворяют История и женщины, вернее, истории близких женщин. Что Троя (нам!), когда бы не... Да-да, всё так, однако, чтобы решить большую художественную задачу (роман?), ее, задачу, для начала надо бы ограничить.

Как?

Понял это ещё в то мартовское утро с неожиданной, не по сезону, радугой, когда заворочался вдруг эмбрион замысла.

Ограничить – это тоже задача, и, может быть, более сложная, чем задача расширения и охвата.

Но Соснин эти противоречивые задачи объединял, он ведь всегда ставил перед собой предельно сложные (мягко говоря, спорные) задачи, вступал в соревнование (мысленное) только с великими (архитекторами, художниками, писателями), и если в конце концов ничегошеньки не решал и никого из великих не побеждал, ибо так и не касался пером ли, карандашом бумаги, то по крайней мере духовные максимумы вкупе с грандиозными замыслами давали бездействию весомое оправдание.

Так вроде бы было с ним и сейчас, здесь: напишет настоящую (?) прозу или... потерпит крах.

Однако уже в то ясное утро с радугой, когда нахлынули смыслы-картины, вызывающе перемешанные с бессмыслицей, почувствовал, что напишет.

А пока – отбор (до полного исключения того, что называют «жизненными реалиями»), в том числе отбор (из чего?) женских портретов, всего нескольких, непохожих, но символически значимых, образно сопоставленных.

Как в романе поэта, где сердце героя разрывали (и разорвали) два разнесённых в пространстве и времени магнита – Тоня и Лара, попеременно меняющиеся местами жизнь и муза?

Нет.

Иначе.

Женщин-амплуа должно бы быть не две (на разрыв арты), а три, и каждую из них, представляющую треть его самого, стоит поместить в вершину в корне отличающегося от традиционного любовного треугольника.

Чувствуя, что через него одновременно проходит слишком много границ, Соснин жил в среде смутных образов, колеблющихся настроений, желания были изнурительно противоречивы, и, пытаясь приблизиться к познанию своей внутренней жизни, он (ещё одна странность) не находил ей лучшего образного уподобления, чем загадочный трепетный мир колдеровских мобилей – в принципе стационарных, вполне уравновешенных конструкций, которые, однако, вдруг поворачивали лёгкие коромысла и лопасти, принимались беспричинно жужжать крохотными пропеллерами, дребезжать и трепыхаться мембранами или звякать, донося

лёгкое дыхание ветерка, какими-то замысловатыми, точно старинные серьги, подвесками, вырезанными из чёрного металлического листа.

Всё, что в порядке подготовки к (главной!) работе говорил, писал, рисовал, проектировал, отражая и выражая свой взращённый в пограничных тревогах характер, несло на себе печать двусмысленности, у каждой буквы и линии дрожал контур; щедро одарённый композиционным чутьём, он тем не менее сомневался в своих способностях, стыдился заурядных фантазий, с опаской придумывая что-то из ряда вон и тайно надеясь на чудесные озарения, боялся самому себе показаться мелким (и недалёким) позёром.

Но едва он, нащупав «приём», уточнив в первом приближении цель, погружался с головой в стихийные противоречия сочинительства, как обретал уверенность, становился жёстким, прямолинейным и, находя себя в схеме-знаке, не задумываясь, жертвовал киселём грёз.

Так и здесь, сейчас, в случае особого любовного треугольника: ход рассуждений был витиеват, а вывод из них – прост.

Чтобы привести в движение художественное сознание, его надо сфокусировать на объекте.

Предположим, такой объект найден (выбран? Создан?).

Тогда он (объект) не сможет существовать в одиночестве, его надо с чем-то сравнивать, определять через другие объекты.

Если костью, брошенной художественному сознанию, оказался мужчина (например, очаровательный любвеобильный циник), то почему бы его не окружить соблазнёнными (и покинутыми? Очень мило) женщинами?

Резонно: роман без любви неполноценен, как откровения евнуха о прелестях оберегаемых им наложниц, – задохнется в занудстве, скуке.

Однако продвинемся дальше: почему двух возлюбленных было бы для романа Соснина мало?

Он избегал обнажённой ситуации выбора, метаний взад-вперёд, напомним – его и до получения конверта с вызовом раздражала простейшая оппозиция «или – или».

Но четыре, пять, шесть... – это уже почти бесконечный, достойный потенции Дон Жуана ряд, а в прекрасном ряду механистичного количественного приращения убывает ощущение качества.

И поэтому возлюбленных должно быть три, именно три: они, разумеется, тоже разнесённые во времени и пространстве, образуют силовое – да-да, треугольное – поле взаимосвязей, в котором и начнёт резвиться создавшее его для собственных фобий и забав художественное сознание.

Сколько возможностей!

Влекущие женщины – зеркала; к ним-зеркала – Нарцисс оживает, притягивает неизбывное любопытство к себе.

Разве самопознание предосудительно?

Ничуть.

Законспирированная под театр явка, он – резидент, держит в голове агентурную сеть, к нему по очереди (иногда вместе? Ого!) являются, кокетливо заслоня лица свои зеркалами, которые держат перед собой на вытянутых руках, три восхитительные Маты Хари и показывают (пароль) по одной трети его «Я» (отражённого), а он средствами образного совмещения трёх долей (варианты поисковой комбинаторики) складывает с помощью визитёрш внутренний свой портрет... Попеременно ли, одновременно смотрится он в три зеркала и заодно... О, заигравшись, он ещё и ввязывается в приключения – придумывая сюжет, трудно обойтись без трюков, залётов в прошлое и будущее, прыжков из окон (а верёвочная лестница?), погонь; вчера преследователи накрыли за утренним туалетом, он, взбешённый, с намыленной щекой, не выпуская помазка из левой руки, эффектно отстреливается... Закрутить сюжет, однако, не сложно – потрогал порез от бритвы, крест-накрест залепленный пластырем, – куда сложнее подобрать хороших и преданных хотя бы на время агентов, когда отвлекают собственные отражения в зеркалах, однако глазки, фигурка (главное – грудь, талия, ножки) и, конечно, походка.

Отбор – не что иное, как акт создания – выделения из толпы типажей и превращения их в индивидуальности.

Так, отбросим реквизит, мишуру; возлюбленных – три.

Одна воплощает цель, устремлённость, протянутый через всю жизнь, подчиняющий себе побочные, включая любовные, желания порыв.

Другая – цветение, радость кружения в дрожащем, разогретом воздухе минутного счастья, воспринимаемого как постоянное.

Третья – доверие и надежду (на что-то неопределённое, туманное), зависимость от воли и желаний других, отсутствие чёткой ориентированности.

Соснин, конечно, был достаточно искущён, чтобы понимать: душевную жизнь не покрыть условной схемой, конгломератом схем или даже их, многих схем, взаимодействием. Однако его и не волновали задачи романного психологизма, благо их, задачи такие, превосходно решили классики. У него была иная задача.

Короткая, но интенсивная школа абстрактной живописи научила ценить очищенную от «содержаний» форму – цвет, линии, плоскость, фактуру, объём...

Однако слова – не краски, слова при всей многозначности их конкретны: словесная форма обречена играть какими-никакими смыслами.

Мелодично жужжит пропеллер, возбуждающе звякают пресимпатичные безделушки (подвесные мобили аккомпанируют?)... Оттолкнувшись от схемы, изживать её в свободном полёте, чтобы, ощутив вдруг неуверенность и трогательную угловатость эскиза, при достижении подлинного итога (точка: уф! Дело сделано) задрожал (ну да, дрожь – признак жизни) контур каждой детали и всей вещи в целом, а пока – передвигаться по сторонам воображённого треугольника от вершины к вершине, шатаясь (от неуверенности), оступаться в неразбериху треугольного магнитного поля или в периферийные, смежные и удалённые зоны спящего смысла, с мелочным упрямством вспоминать и придумывать: он в тексте уже? Огонёк сигареты, рефлекс на подбородке, цвет и подвижный абрис волос, убегающие за вагонным окном снежные палантины елей, нарезанные кружками огурцы на тарелке, солнечный зайчик (зайчик вышел погулять), да (вдруг охотник выбегает)... А ещё он рассматривает весь текст (как город) с птичьего полёта, шире и дальше трепетного треугольника ограничений, и тут же, опять очутившись в замкнутости этого треугольника, зарывается в подробности, ничего большего, чем сгустки взблескивавших крупниц, не замечает, упираясь то в одну, то другую невидимую точку со слепым упорством крота, который не знает, что ещё поджидает там, за осыпающейся границей хода.

Дал чёрт с талантом родиться! Краткость и жизнь, склоч-

ные, в повышенных тонах выясняющие отношения сестрички неразлучны, вцепились друг дружке в волосы, а он разнимает, безуспешно уговаривает, ищет компромиссную основу для перемирия, а время уходит, совещание сомнений затягивается, писать надо, однако, не разняв, не утихомирив – не начать даже.

Поэзия – концентрат; ёмкая, краткая, индивидуальная и вдруг достигающая общезначимых высот формула чувств. Но он-то худо-бедно кропает прозу, терпеливо выводит какие-то значки на странице тетрадки, становящейся быстро черновиком, сравнивает варианты, сокращает дробы смыслов (возводит в куб, извлекает квадратный корень), его увлекает (куда-то) двусмысленный (Лера права!) процесс доказательств, а саму формулу, прозаическую, если он её выведет, он готов будет привести в конце и даже почтительно обведёт формулу рамкой.

Общение со стихами обогащает, но, замечено, с какого-то момента разлагает прозу. Нужна осторожность, тогда стихи помогут, благосклонно что-то подскажут, хотя и у поэзии, оперирующей «единственными» словами и их, слов, единственно возможными порядками, свои трудности. «О, если бы я только мог, хотя б отчасти, я написал бы восемь строк о свойствах страсти», а тут, не потеряв головы, не восемь волшебных строк написать надо – целый роман, и стоит ли удивляться, что проза, не расставаясь с многословием, порой ста-

новится избыточно (?) игровой, умозрительно (?) сконструированной, неоправданно (?) узорной и – с достойной лучшего применения педантичностью – напоказ сшитой белыми нитками.

Так бывает, но не упустим из виду, что с ходу бросающиеся в глаза критикана белые нитки служат автору дразнящим оружием; это своего рода красный плащ матадора, грациозно-ритуальное искусство которого, кстати, так ценил любитель праздников и лаконичного (телеграфного) литературного стиля...

И что с того?

Автор – во всеоружии приёмов?

Ну да, колчан, полный стрел; но – прицельным приёмом больше, приёмом меньше, а в суть никак не попасть...

Не лучше ли сразу поверить, что вопреки своим вкусовым причудам и отсебятине автор тоже что-то когда-то читал из всеми чтимых кумиров, и, отбросив бычье упрямство, стоит всматриваться вместе с ним в события, факты, улавливая их контрасты и аналогии, чтобы (заранее?) увидеть-нафантазировать общий, организующий текст узор смыслов и формальных признаков, в котором всякая чёрточка уже наделена сквозным назначением, – ну да, текст един, всякая мелочь имеет продолжение, рифмовку с чем-то удалённым, сбыв-

шимся или предстоящим, дабы активизировать весь узор гипнотическими повторами значимых элементов, приобщая к тревогам будущего...

Хотя мы, влетая в будущее без оглядки, вытаптывая его, оставляя позади, бездумно превращая в прошлое, каждый раз проскакиваем предупредительные сигналы... Наблюдая за потешной балансировкой прыгающего по волнам лыжника, перечеркнул страницу крест-накрест.

Да, невнятица.

И номер такой не пройдёт, прошлое напомнит в нужный (самый неподходящий) момент о таких сигналах, оставшихся позади, неожиданно впрыгнет на плечи, придавит, пригнёт, заставит вспомнить-ужаснуться и – забросит вперёд новые сигналы-предостережения.

Так-то: в жизни, которой живём, не замечая её, и без всяких умствований всё сцеплено, тайно взаимосвязано и текуче; всё, чем живы, одномоментно протекает в большом времени индивидуального сознания, где нет случайностей, ни одной – всё, что было и есть, любая мелочь, вдохновляющая ли, удручающая – начало, что-то ещё случится, жди продолжения.

Да-да, не грех повторить, так и в городе: по мере развёртывания пространственной композиции происходит сравне-

ние интуитивно ожидаемого с увиденным, подтверждающее или опровергающее сигнал пластического фрагмента-известителя, и связанное с ним первоначальное предчувствие, в результате чего фонд накапливаемых зрительных впечатлений поэтапно реконструируется, а смена кадра, происходящая при переходе с одной промежуточной позиции на другую (заворот за угол хотя бы) становится визуальным стимулом для дальнейшего движения. Это универсальные закономерности восприятия композиции, работающие как в городе, так и в литературном тексте, без учёта их – не заронить волнение, главное для прозы. Волнение, колокольчик, неожиданный звонок в дверь, а кто за дверью – ха-ха, не почтальон ли? – пока неизвестно, но ожидает встреча, что-то случится, и тревогой надо бы пронизать каждое слово, строчку, факт, событие, сцепив их между собой вопреки пространственно-временным промежуткам, разрывам-пробелам, видимому отсечению связей в наспех собранной схеме: избегать фарфоровых, мешающих пропустить ток волнения изоляторов, не разбивать текст на герметичные отсеки, художественный текст – не подводная лодка, для плавучести нужна глобальная открытость смыслов, образная система сверхпроводимости, света, бегущего по включённым в единую цепь фрагментам. Нет главного и второстепенного, тусклых минут и звёздных часов; изнанка и лицо – продолжающие одна другую поверхности ленты Мёбиуса, фон плавно вывёртывается на передний план, две стороны меда-

ли сливаются в одну, третью, всё важно – точка, запятая, точка с запятой... Сшибка и покой, напряжение, интуитивное угадывание сквозной темы и – тайна: как всё же складывается главное впечатление?

Из какого равномерно распределённого словесного материала кристаллизуется решётка поэтики?

Благодаря чему, по словам кого-то из древних, искусство не выговаривает и не скрывает, но – знаменует?

Пытаясь проникнуть хотя бы в прихожую тайны, читал эпический роман, ту его главу, где рассказано о путешествии проданного в далёкую страну мальчика – путешествии тягуче длительном, предначертанном высшим смыслом, узором судьбы, нарисованным Богом; тяжеловесная мудрость отца, тупость и, оказывается, функционально прозорливая враждебность братьев, действенная типология характеров, неспешное, как укачивающий шаг верблюдов, развёртывание спрятанных в тёмном начале начал содержаний, звонок-гонг здесь, сейчас звучит или доносится сквозь века брэнчание колокольчика на шее верблюда, которого ведет чувствующий свою избранность мальчик? Предназначение, открытость судьбы в грядущее, звонок... или так настойчиво брэнчит колокольчик, неправдоподобно далёкий?

Услышал-таки звонок...

Открыл дверь, удивлённо повертел длинный конверт, в целлофановом, с закругленными углами окошке которого увидел вдруг (обухом по голове?) типографски набранную свою фамилию, имя, странный обратный адрес, странную, словно произносимую с забитой горячим песком пустыни гортанью фамилию отправителя, имя его, выплывшее из библейской, но, выходит, чем-то родственной и ему, атеисту и космополиту, исторической глубины; пугающе многозначительный, выводящий из размеренного чтения манновского «Иосифа...» конверт: вызов.

Сам виноват, искусственно поднял давление; драматизирует любую безобидную ситуацию, вот и выбит из колеи, как на качелях: уехать – остаться, и раскачивается туда-сюда, а ничего не меняется, и литературную задачу поставил себе чересчур сложную, толчёт воду в ступе, даже никак начать не может, опутанный сетью предварительных рассуждений, столько страниц испорчено... Да, придётся вычёркивать, как вычёркиваются сейчас дни. У заключённого хоть есть срок, а ему-то срок не объявлен; загнал себя в угол, жизнь и замысел, всё сильнее подчиняясь необъяснимой самому воле, сжимают тисками. Пора начинать, а он всё ещё не решил с чего, и между тем садистски подкручивает на тисках ручку винта и – не шевельнуться, больно, а время идёт, течёт, сыплется, тикает, метроном отбивает ритм, качается взад-впе-

рёд маятник в полом теле собора, а земля тем временем вертится, не ждёт.

Мне Брамса сыграют – я сдамся, я вспомню упрямую...  
..... и кровлю, и вход... ..... полутёмный... и ком-  
нат питомник, улыбку, и облик, и брови, и рот... .....  
С чего же начать?

Всё просто: ослепляющий солнечный зайчик и – заодно  
– маятник (Фуко), привязывающий к ритмике мироздания;  
колебания внутренние («Я» – ещё и мембрана?) и внешние,  
вечные, но входящие в резонанс с сиюминутными.

Собор – вот и завязка?

Да, собор.

Свой собор?

О, разумеется. О чём же речь?

И этот грандиозный (крупнейший в православном мире?)  
собор, «присвоенный», «свой», подаренный стечением об-  
стоятельств, не открыточный, принадлежащий всем ахаю-  
щим и охающим, а именно «свой», начинённый нежданны-  
ми деталями, будто бы наспех «упакованный», он не смог бы  
забыть...

Ещё бы, повезло увидеть собор таким, каким не могли  
увидеть его другие, и если указала ему судьба путь на Запад,

роскошный златоглавый собор со всеми его неподъёмными пластическими и декоративными богатствами, представшими перед ним в столь необычном обличье, тоже подлежал бы нелегальному – мимо таможенников и пограничников – вывозу за кордон.

С детства побаивавшийся в незнакомом пространстве темноты Соснин, как бы пересиливая инерционный страх, отставал от группы сокурсников, с которыми направлен был в Исаакий на обмерную практику, и бродил по затемнённо-му собору один, безотчётно полюбил его, проникся его излучающей цветистый сумрак тайной, начал было считать, что знает этот собор так же хорошо, как мог бы знать его какой-нибудь скоротавший здесь долгую череду дней своих настоятель, или (аналогия с Квазимодо коробила) проще: смутно воображал себя необходимым пусть всего-то на месяц обмерной практики, но живым приложением к собору и продолжением его, чутко улавливающим пульс неподвижности, ритм беззвучных каменных вдохов и выдохов, жутковатые, как крики совы ночью, звуки – скрипы и хлопанье створок, посвисты сквозняков, беспокойное, словно ворочанье спящих в бараке или казарме, копошение голубей.

Действительно, многое успел увидеть в соборе, узнать, запомнить; его переполняли-распирали впечатления, как если бы огромный собор уместился в нём.

Однако вопреки чрезмерностям всего, что уже увидел,

узнал, он вдруг спотыкался о порог нового впечатления, обнаруживал в себе восторг и благоговение пилигрима, случайно заглянувшего из солнечного дня во тьму за приоткрытой массивной дверью и ослеплённого великолепием иконостаса.

Соснина, с самоотречением молодости молившегося тогда, по окончании первого курса архитектурного факультета, на новомодную геометричность коробок, вопреки сыплющимся в доверчиво оттопыренные уши предупреждениям о дурном вкусе, отсутствии чувства меры и прочих грехах, якобы отличавших громадину Монферрана от другого, прекрасного и гармоничного (как безоговорочно считалось), с закруглённой колоннадой, воронихинского собора, Казанского, властно притягивали тускло мерцавшие малахитово-золотые внутренности Исаакия, мощные гранёные пилоны главного нефа, волнующее смешение стилевых рисунков в декоративном убранстве, бесстрашные, вроде бы поверх правил – и многозначительные! – наслоения живописи, скульптур, пластических профилей и деталей, позволявшие вследствие демонстративных перегрузок композиции вообще отделить это неумеренное пиршество форм от скудных тогда ещё профессиональных представлений Соснина, после разоблачения «архитектурных излишеств» верноподданно замыкавшихся на уютно-р-революционном в те годы идеале строгой и лаконичной, почитавшей простоватые тектонические зависимости, «хорошей» архитектуры.

Да, собор жил сам по себе, в новомодные – единственно верные – правила и нормы, само собою, не вписывался, а растянувшаяся надолго послевоенная реставрация многое ещё скрывала от любопытных глаз в исполинском соборном чреве, лишала его завершённого парадного блеска, но зато и на каждом шагу добавляла что-то к изначальной его безмерности, многократно усиливая в путешествиях по собору загадочность зрелища.

Недостроенная сокровищница?

Недограбленная гробница?

Или – вот и пространственная графика трубчатых железных лесов терялась где-то там, в голубовато-пыльной подкупольной выси, как если бы и впрямь собор ещё только рос, строился?

Или, напротив, разбирался на части, да так, что их, демонтированные части эти, к чему-то тут же пристраивали?

Забыв про тетрадку, море и рошу, забыв даже про рюмку с недопитым коньяком, погрузился в давние впечатления.

...Стоило, однако, сделать неверный шаг в сторону с любой из взаимно перпендикулярных осей симметрии – и мнилось уже, что это не конкретный (уникальный!) собор, зашлифованные камни которого можно потрогать, а избыль-

ный до чрезмерностей собирательный образ собора, сконцентрировавший в себе непостижимое и неопишное богатство архитектурных форм – как фасадных, так и интерьерных: всё, что когда-то было придумано, вычерчено, отлито, вылеплено, высечено, расписано – вместе, скопом, в антизаконно-причудливой уплотнённости и изукрашенности, причём всё это зримое многообразие хотя и кое-как, словно наспех, но – полностью упаковать не успели? – для пущей таинственности было лишь фрагментарно, там и сям, прикрыто, обёрнуто, занавешено рогожей и мешковиной.

Так всё же строился-собирался собор в восприятии-воображении или разбирался на части?

О, раз за разом он, обходя собор, спускаясь и поднимаясь по лестницам, коллекционируя головокружительные ракурсы, задавался этим вопросом. Формы и красочные пятна мозаик и облицовок пребывали в движении, в непрерывном становлении, как если бы развёртывался вокруг не материальный ансамбль из каменных форм, подчинённых вполне строгому крестообразному плану, а зримая метафора замысла, самого процесса дпящегося Творения, сращивавшего пространственные фантазии Монферрана с фантастичной инженерией Бетанкура.

Да, именно так: ощущал, что творение длится сейчас, на его глазах!

Переливающееся в сумраке сверкание драгоценностей, цветовые вспышки, контрастную игру фактур тут и там пере-

чёркивали грубые щиты и раскосы дощатых, в щетине заноз лесов, тире и дефисы перекидных мостиков и тут же, в зрительных наложениях, клетки других лесов, трубчатых; роспись арочных сводов, позолоченное руно волюты, зашлифованный малахитовый ствол внезапно выглядывали из прорех в защитных полотнищах рогожи, мешковины, которые, кое-где отцепившись, криво свисали откуда-то сверху, словно древние прохуdivшиеся знамена, штандарты, или топорщились морщинистым выменем. Он невольно принимался угадывать по блеску позолоты и малахита в дырах рогожи, каковы же они, обёрнутые ею, рыжей рогожей, колонны; и невольно опять-таки думал: а заплатами пустот в красочной клетчатке иконостаса – изымались или добавлялись какие-то элементы изобразительности?

Метафора становления, метафора замысла, метафора вымысла, домысла...

Промысла? Да-да-да, главное в том, что это была метаметафора-метаморфоза.

Но был ли в неудержимом метаморфизме вроде бы статичного зрелища хоть какой-то порядок?

Пышность и изобильность зрелища, загадочное и тревожное (?) сочетание многоцветных камней и позолоты, прямых и упругих линий, дуг лучковых фронтонов, пилонных выступов, карнизов, ниш, фактур порождали самые разные ассоциации и вдруг начинали восприниматься как фантастический натюрморт, каким-то образом скомпонованный не

столько из обломков архитектурных форм, сколько... из обломков стилей, и потому Соснин попадал в плен эклектического, а может быть, уже тогда, в середине девятнадцатого века, напорочившего краткий расцвет модерна (и даже постмодерна) разнообразия, порывавшего с монополюсно-канонической скукою классицизма.

Впадая в транс от попутных видений, он не мог не увидеть собор иначе, совсем не таким – «законченным» и при всей пышности своей будто бы каноничным, – каким станут вскоре, после реставрации, предьявлять его экскурсантам.

Но тогда ни экскурсантов, ни служителей культа – на взятие – не было.

День за днём в полном одиночестве (за компанию со сквозняками) путешествовал он по лестницам и переходам собора, словно по артериям непостижимо-сложного, чудесно окаменевшего организма и лишь ненадолго выбирался из взблескивавшего сумрака на свет божий – загорал на горячих сковородах медных, в изумрудных лишаях патины кровель или вспоминал-таки о рулетке, линейке, карандашах, выполнял урок: забравшись на наружные леса, прислонённые к доверенному студентам-обмерщикам западному портику, прикладывал рулетку к модульону, затем – к промежутку между модульонами, затем проводил на бумаге раз-

мерные линии, записывал цифры или, раскатывая по фризу рулон кальки, копировал загадочное посвящение, набранное славянской вязью: «Царю царствующих».

Вскоре, однако, отложив блокнот с обмерными эскизами, зачем-то ощупывал гладкую и прохладную (в тени) поверхность фриза, выступающие из-под фриза вогнутые абак коринфских капителей, а поднявшись по металлической стремянке, связывавшей разные уровни лесов, в остром углу фронтона машинально проводил пальцем по сходящимся на ус линиям гуськов и полочек. И однажды в этой соблазнительной точке схода, в вершине фронтонного треугольника, его, выскочив из-за спины, неощутимо схватил за руку пушистый солнечный зайчик – схватил, подержал, отпустил, игриво попрыгал на отвесной фронтонной плоскости, потом бесстрашно-весело заплясал над мраморным обрывом карниза, а когда Соснин обернулся, зайчик, соскользнув с модульона, слепяще резанул по глазам – высунувшись из арочного окна последнего этажа дома, темневшего напротив собора, круглолицая девчонка забавлялась с зеркальцем; еле слышно прыснул далёкий смех, проказница растворилась в чёрном омуте комнаты.

И где, где пушистый прозрачный зайчик?

Только что дрожал, прыгал...

Отвлекла: внизу выруливал из виража, огибая угол собора, синий троллейбус, напротив хмурился тёмно-серый фа-

сад, расчленённый рядами арочных, в обрамлении пилястрочек окон, правее – ещё два дома, за ними – кипящие на солнечном ветру бульварные липы и игрушечный Конно-гвардейский манеж, ещё дальше – макетно-маленький жёлто-белый Росси, блещущая Нева; да, троллейбус благополучно зарулил на бульвар – не пора ли вернуться вовнутрь, в соборные сумерки?

Внешнее, внутреннее?

Или внешнее и внутреннее, лицо и изнанка, подкладка... субстанции, как и поверхности ленты Мёбиуса, перетекающие одна в другую, по сути образуют единство?

Короче, отправлялся за неожиданностями в новое путешествие...

В один прекрасный день, забираясь всё выше, решил на штурм изнутри; это была незнакомая альпинистам попытка проколоть изнутри полую рукотворную гору-сферу и очутиться снаружи: на воздухе, на вершине сферы, у светового надкупольного фонаря, под крестом, на окружавшем фонарь тесном балкончике.

Когда лестница стала уже и круче, отвратительный бордель голубей подсунул ему вместо порога притолоку, он больно ушибся и подумал было, что ещё не поздно обратиться в бегство, спуститься (признав поражение?), но понаде-

ялся всё же, что как-то всё обойдётся с небесной помощью. Упрямо лез и лез ввысь, ещё выше, ещё, духота сгушалась, но пока он ещё мог терпеть, карабкался. Становилось уже невыносимо жарко, он начинал задыхаться, но удушье опередил кошмар заполненной миазмами плавящегося голубиного помёта газовой камеры, и всё же из последних сил – вверх, к бледному струению света; к пропылённым лучам уже ближе, гораздо ближе, чем к клубящейся тьме внизу... Однако как же хочется прыгнуть вниз, броситься, пусть и превратившись в мокрый мешок с поломанными костями... Есть ли шанс выбраться из этой удушающей жаркой тьмы, глотнуть свежий воздух?

# Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.